

\* \* \*

*Приграничные территории по определению находятся на пересечении разных политических и культурных влияний. Этот общий тезис не нуждается в подтверждении, интерес тут может представлять лишь конкретное историческое описание бытующих на приграничных территориях взаимопересекающихся влияний и анализ опыта восприятия таких влияний. Материалом для исследования в нижеследующем параграфе стало положение Дерпта на карте империи. В силу исторических обстоятельств Дерпт и вообще Лифляндия находились под сильным влиянием немецкого компонента. Заметную роль играли немцы в культурной и административной жизни края. Дерпт стоял на тракте, который вел из России в Европу, на дороге, которой следовали за границу русские путешественники. Кроме того, с открытием в городе университета в начале 1800-х гг. количество русских, попадавших на более или менее долгое время в Дерпт, сильно увеличилось. Благодаря этим обстоятельствам мы имеем возможность проанализировать специфическое положение Дерпта на карте Российской империи (политической, идеологической и культурной) на материале литературы начала XIX в. Именно в это время, как показывает исследование, и формируется в русском культурном сознании образ прибалтийских земель как «своей заграницы», «собственной Европы» и «маленькой Германии».*

### **2.3. Балтийский край — «немецкая земля» между Россией и Европой\***

Любовь Киселева, Татьяна Степанищева

Выражение «русский Дерпт» употребляется нами в двух, точнее даже в трех значениях.

Первое — уездный город Лифляндской губернии, входивший в состав Российской империи с 1704 г. (юридически статус был закреплен в 1721), именовавшийся так до 1893 г., когда он был переименован в Юрьев. В этом смысле «Русский

---

\* Работа выполнена при поддержке гранта ЭНФ № 7901 «“Идеологическая география” западных окраин Российской империи в литературе». При написании параграфа использована статья Л. Н. Киселевой: Русский Дерпт — остановка на пути в Европу? // На перекрестке культур: русские в Балтийском регионе: В 2 ч. Калининград, 2004. Ч. 1. С. 77–89.

Дерпт» — обозначение города на определенном этапе его исторического существования, в отличие от «ливонского (немечкого)», «шведского» или же «польского».

Другое значение — русская колония, жившая в Дерпте издавна, но в послепетровскую эпоху принявшая более отчетливые и документированные очертания.

Третье, частный случай второго, — это русский культурный анклав, который возникает в Дерпте в начале XIX в., вместе с основанием Императорского Дерптского университета и появлением русских преподавателей, студентов и связанного с ними круга людей. Назовем лишь самые известные имена: А. С. Кайсаров, А. Ф. Воейков с семьей, М. А. Протасова-Мойер, В. А. Жуковский, Н. М. Языков, Н. И. Пирогов, В. И. Даль, гр. В. А. Соллогуб и мн. др. К концу XIX – нач. XX вв. этот анклав значительно расширился, но никогда не включал такого созвездия «литературных» имен, как в 1810–20-е гг.

Каждое из отмеченных выше значений интересующего нас понятия указывает на определенные аспекты исследовательской проблемы, которые мы постараемся затронуть, сосредоточившись на материале рубежа XVIII–XIX вв.

Поскольку Дерпт располагался на главном почтовом тракте, соединявшем столицу Российской империи с Западной Европой, он становился неизбежным пунктом, через который проезжали все путешественники, ехавшие из Петербурга в Германию и дальше. Часто именно здесь они ночевали и делали более или менее длительную остановку<sup>1</sup>. Дерпт как объект

---

<sup>1</sup> После прокладки железной дороги в начале 1880-х гг. Дерпт-Юрьев оказался несколько в стороне от транзитного потока — всего лишь на ветке, соединявшей Балтийскую и Псковско-Рижскую железнодорожные линии. Это обеспечивало беспересадочный проезд из Дерпта в Петербург и Ригу, а также связь со всеми основными городами Российской империи и возможность удобного и недорогого железнодорожного проезда в Европу. Однако путешественники из Петербурга ехали в Ригу, Варшаву и Берлин через Псков, а не через Дерпт. Да и железнодорожное путешествие носило уже совсем иной характер: остановки длились считанные минуты, путешественники ночевали не на почтовых стан-

описания появляется в русской литературе в конце XVIII в., и здесь сразу определяется тот ракурс, который, впрочем, характерен для восприятия не только Дерпта, но и Эстляндии, Лифляндии и Курляндии в целом — «русская заграница». Так назвал свои путевые очерки об Эстонии Д. Н. Мамин-Сибиряк [Антология]. Впоследствии — в 1950–80-е гг., без всякой связи с этими очерками, наименования «советской заграницы», «нашей заграницы» прочно утвердились за всем регионом. Соответственно, чуткость к понятию «границы», «пограничья», к двойственности существования на рубеже, ощущение «инаковости» этого географического и культурного пространства становятся неотъемлемой частью любого описания этих мест.

На пути из Петербурга в Европу путешественники задолго до Дерпта остро переживали чувство, которое накладывало отпечаток на все их рассказы или повествование о путешествии — чувство пересечения границы.

Обратимся к тексту, который стал исходным пунктом в традиции описания Лифляндии в русской литературе и сыграл в ее формировании определяющую роль. Это карамзинские «Письма русского путешественника». Собственно о Дерпте Карамзин пишет предельно мало, но все затронутые им темы и мотивы оказались столь важными для последующего опыта восприятия и описания русскими Лифляндии и Дерпта, что нам придется их рассмотреть, несколько отклонившись от нашего непосредственного предмета.

Вернемся к мотиву «пересечения границы» в Нарве. Формально никакой границы, конечно, не существовало, однако и в начале XX в. переезд через реку Нарову осознавался как вступление в чужое пространство, что видно на примере из того же Д. Н. Мамина-Сибиряка:

---

циях или в гостиницах, а прямо в вагонах. Теперь, чтобы посетить Дерпт/Юрьев, надо было специально в него стремиться. Тому имелись, конечно, свои причины: учебные заведения этого города (особенно университет и Ветеринарный институт) привлекали большое число молодых людей со всех концов империи.

Мы очутились на территории древней Ливонии, <...> и сейчас все здесь остается для нас чужим, что чувствуется на каждом шагу. Одним словом, мы переехали русскую границу... Характер местности мало изменился, но совершенно другие лица, другой тип построек и даже как будто другой воздух [Антология: 485].

Тема, столь жестко сформулированная Маминым-Сибиряком, была задана еще Карамзиным, но гораздо лаконичнее и тоньше:

Немецкая часть Нарвы, или собственно так называемая Нарва <...>, другая <...> называется Иван-город. В первой все на Немецкую стать, а в другой все на Рускую. Тут была прежде наша граница — о Петр, Петр! [ППП: 9]

Тема Петра также будет неизменно актуализироваться при обращении к ливонской теме, однако на этом мы останавливаться не будем, а проследим, как разворачивается у Карамзина мотив пересечения границы, только намеченный в приведенном отрывке.

Буквально на следующей странице карамзинский путешественник объясняет свои ощущения «инаковости» пространства в сентиментальном ключе — разлукой с друзьями: «Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался» [Там же: 10]. Однако почти сразу наступает кульминация, что связано с пересечением «настоящей», т. е. государственной границы:

Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, произвела в душе моей удивительное действие. На все, что попало мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, думал я — и глаза мои искали чегонибудь отменного, нового [Там же: 10–11]<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Интересно проследить, как с ходом времени западная граница империи постепенно отодвигается и как роль «первого иностран-

Таким образом, троекратным обращением к мотиву границы на малом текстовом пространстве Карамзин и задает взгляд на Лифляндию как на «нашу за границу» — территорию одновременно «свою» и «чужую». Как показывает его краткий очерк этих мест, карамзинский путешественник лишь маскируется под поверхностного наблюдателя, смотрящего на мир из окна кареты (характерно, что эта маска станет потом объектом полемики Ф. Булгарина)<sup>3</sup>. Русский путешественник смог разглядеть конфликт, который станет неизбежным атрибутом описаний балтийских земель: конфликт между остзейским дворянством и коренным населением края. Карамзин, по сути, заложил традицию положительного описания эстонских крестьян (мимо чего исследователи порой проходили). В этой связи мы хотели бы обратить внимание на то, что повествование организуется как столкновение двух точек зрения: «местной» (немецкой), которая оказывается чуждой путешественнику, и другой — как будто бы отстраненной позиции внешнего наблюдателя, которая и оказывается истинной.

Первый тезис в этом своеобразном диалоге позиций вновь отсылает читателя к сентиментальному дискурсу, а также к собственно-карамзинской логике реформатора языка: «Я заметил, что они <эстонцы. — Л. К.> все Немецкия слова смяг-

---

ного города», как эстафета, передается все дальше. С конца XVIII в. она надолго укрепилась за Кенигсбергом.

<sup>3</sup> Ср.: «Что касается до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин» [ППП: 9]; и булгаринский ответ Карамзину: «Кто знает Лифляндию только по большой почтовой дороге из Нарвы в Ригу, тот не имеет ни малейшего понятия об этой стране. Странно, что большая почтовая дорога будто нарочно проходит через самые бесплодные и скучные места, которые несколько оживляются только в окрестностях Дерпта и Вольмера. Верста в сторону — и виды бесподобные! Вы знаете, друзья, что Лифляндия имеет свою Швейцарию, так как Саксония имеет свою. — Саксонская Швейцария величественнее, потому что усеяна гранитными скалами; но Лифляндская Швейцария милее» [Булгарин 1839: 5].

чают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен». Далее рассуждение переходит в иную плоскость: «...но видя их <эстонцев. — Л. К.> непрворство, неловкость и недогадливость, всякой должен думать, что они, просто сказать, глуповаты». Однако противоречие между двумя частями утверждения тут же снимается новым конфликтом:

Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леньность, и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужики в Лифляндии, или в Эстляндии, приносят господину вчетверо более нашего Казанского или Симбирского. Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом* во все будничные дни, за то уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма не много по их Календарю [ПП: 9]<sup>4</sup>.

Карамзин в свойственной ему стилистической манере не акцентирует внутреннего противоречия своих рассуждений, обрывает их и уводит все в подтекст. Однако единство авторской позиции очевидно, хотя подобный дискурс требует от читателя напряженного внимания — и это для автора принципиально. Недаром все содержащиеся у Карамзина мотивы, в том числе, скрытые (пьянство эстонцев — «без памяти веселятся»), были развернуты впоследствии у других авторов, независимо от того, соотносили ли они свой текст с карамзинским, или же нет.

Из всех мест Лифляндии карамзинский путешественник выделил только Дерпт, куда он въехал на Троицу: «Когда от-

---

<sup>4</sup> По предположению Ю. М. Лотмана, позиция Карамзина могла быть отчасти обусловлена его контактами с кругом А. Н. Радищева и А. Р. Воронцова, т. е. средой передовых петербургских чиновников, которая «внимательно следила за положением крестьян в Прибалтике, поскольку видела здесь модель рабства в чистом виде: разноплеменность прибалтийского “рыцарства” и крестьян — эстонцев и латышей, с одной стороны, и эффективность использования рабского труда, с другой, являли собой как бы модель крепостничества как такового» [Лотман 1987: 53–54].

крылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось» [ПП: 9]. В свете только что сказанного о веселье характеристика становится несколько двусмысленной. Читателю остается только догадываться, с чем связано благоприятное впечатление от Дерпта: с внутренними переживаниями героя-путешественника, который встретил здесь молодого поклонника Якоба Ленца и в разговоре с ним оживил свои московские воспоминания, или с тем, что все в городе «веселилось» и он смог разделить это веселье.

Подчеркнем, что у Карамзина сложно организованное повествование вполне соответствует сложности описываемого объекта. Не забудем также, что лифляндская тема помещена у него в контекст европейского путешествия и, следовательно, по определению включена в тему «Россия — Европа». Потом разные авторы будут останавливаться на тех же темах, проблемах и даже будут пытаться найти им решение, однако значимость этих решений будет находиться в прямой зависимости от того, насколько они смогут сохранить сложность видения, столь присущую Карамзину.

Следующий писатель, чье творчество становится ключевым в разработке уже собственно дерптской темы, конечно, является Н. М. Языков. Мы бы хотели, однако, остановиться не на широко известных его стихах, где разработан миф о Дерпте как об островке свободы в самодержавной России<sup>5</sup>, о вольном студенческом городе — городе разгульных пиров и веселого братства (только заметим преемственность с «веселым» Дерптом у Карамзина). Нас будут интересовать письма Языкова к родным, в которых поэтические мотивы даются порой в ином освещении, но главное — в них вскрывается внутренний стимул пребывания поэта в Дерпте. Кроме того, мы обратимся к поэтической трактовке Языковым немецкой темы в связи с его пребыванием в полунемецком Дерпте.

---

<sup>5</sup> Эта мифологема вновь актуализуется в эпоху Ю. М. Лотмана и летних семиотических школ, участники которых в своих воспоминаниях трактуют Тарту как оазис свободы среди советского тоталитаризма.

Вот как описывает Языков свои самые первые впечатления о городе: «Здесь совершенно другой мир, другие люди, даже наружность людей иная: все немецкое» [Языков 1913: 14]<sup>6</sup>. Довольно скоро формируется и весьма критическое отношение автора к дерптским обывателям, в том числе студентам: «Студенты, коим я рекомендовался от Воейкова, люди более светские, нежели образованные, и вовсе не пиитические; с ними невесело» [Там же: 19]; «Немцы, меня окружающие, имеют очень мало особенного, необыкновенного» [Там же: 41]; «Главная черта здешних собраний есть трубка и пиво» [Там же: 18].

Объясняя брату причины своего плохого настроения, Языков пишет: «Я не могу представить себе человека всегда веселого, особливо там, где окружен людьми, вовсе ему чуждыми и разделяющими с ним только питье и пойло» [Там же: 35].

Языков рассматривает свое пребывание в Дерпте лишь как этап, как остановку на пути в Европу: «когда я укреплюсь в этих языках <латинском и немецком. — Л. К.>, то решительно оставлю Дерпт и поеду в чужеземие» [Там же: 17], подразумевая Германию. Поэт сам раскрывает причину такого устремления: «Помоги Господи только найти верный путь к Парнасу, а етот верной путь Немчизна» [Там же: 48]. Таким образом, стремление найти свое место в русской словесности влечет Языкова в Германию, а Дерпт оказывается всего лишь средством к достижению этой цели.

Как известно, из планов обучения в Германии ничего не вышло, поэтому дерптские пиры (в стихах и в реальности) оказались для Языкова компенсацией жизни в чужой среде —

---

<sup>6</sup> Ср. позднейшие, уже резко политизированные описания: «Человек, впервые попавший в Юрьев, долгое время чувствовал себя не в России, а где-нибудь за границей — в Германии. Всюду только и слышна была немецкая речь; постройки в немецком духе; всякия вывески, надписи и т. п. написаны по-немецки; в окнах всюду были выставлены портреты Вильгельма, Бисмарка, Мольтке <...> каждый фон считал своим долгом иметь у себя портрет кайзера, или портрет немецких знаменитостей; русское же, если что-либо и встречалось, то открыто презиралось» [Тюрморезов 1988: 109].



на «чужбине», как он называл Дерпт в минуты досады [Языков 1913: 63]. Однако следует иметь в виду, что и в формировании языковского образа Дерпта первичными оказались именно поэтические установки и литературные впечатления. Об этом свидетельствуют строки из его письма к брату. Уже через неделю после своего приезда в Дерпт Языков пишет о «большом преображении», которое совершилось с ним в этом городе (подразумевая решение вести «деятельную, благодородную» жизнь), и посылает стихи:

Здесь человеку нет цепей,  
Здесь ум божественный не скован,  
И гений ласкою страстей  
И негой чувств не очарован! [Там же: 16]

Вряд ли для делавшего первые шаги в немецком языке поэта неделя могла стать достаточным сроком, чтобы составить впечатление о реальном Дерпте как городе свободы. Но такой поэтический образ, развитый затем в стихах, уже складывается.

Отзывы Языкова о «немецком Дерпте» в довольно значительной степени обусловлены влиянием культурных и литературных стереотипов. В наиболее исследованных стихах Языкова-студента (которые мы потому и оставляем в стороне) — о вольной студенческой жизни Дерпта — образы «немецкости» весьма традиционно-романтические: у немцев «просвещенный вкус» (стих. «Дерпт»), немцы — ученые и ради учености отвергают житейские соблазны (послание «Н. Д. Киселеву», «Воспоминание» 1826 г.).

Языков высоко ценит немецкую литературу: в эти годы литературными образцами для него являются Гете и Шиллер (стоит отметить, что «русицизм» поэта повлиял на исследователей; его творчество мало изучалось в аспекте европейских литературных воздействий). Если сравнить отношение Языкова к немецкой и французской литературам, то окажется, что первая для него безусловно стоит выше, а о русской современной литературе он отзывался чрезвычайно критически.

Кроме «романтического» варианта немецкой темы, у Языкова присутствует и ее комический, бытовой вариант. Немцы

представлены в стереотипном комическом образе. Ср. описание маскарада в письме брату 1823 г.:

Вчера был я в маскараде. Немцы чрезвычайно величаются великолепием и множеством масок, а их было очень немного: все можно бы сочитать на десяти пальцах, не беспокоя оных во второй раз. Какие редкие фигуры представлялись моим глазам во время танцов (разумеется мужские). Здесь мужеский пол далеко отстал от женского в телесном образовании: большая часть Немцев имеют какую-то особенно странную, характерно-смешную физиогномию, притом же танцуют вообще как-то уродливо; ходят в польском с важно-комическою осанкою и тихо, как гуси, а вальсируют в скачь. Мне кажется, что самим Немцам очень скучно в таких собраниях; большая часть только зрители: стоят, повеся носы (а многим из них есть, что повесить), смотрят разиня рот, потому что непрестанно зевают, нюхают табак и говорят, что им очень весело. Между сими *перспективными* зрителями шныряют студенты... [Языков 1913: 46].

Неловкость, неуклюжесть, переход от задумчивости к буйству, увлечение табаком, некоторые особенности национальной физиономии (длинный нос) немцев и привлекательность немцев — все эти детали типичны для бытового стереотипа немца, и для складывающегося в русской литературе в начале XIX в. стереотипа литературного<sup>7</sup>. Для сравнения вспомним комический облик Кюхли. Бытовой стереотип немца сложился у русских давно<sup>8</sup> — и Языков, попав в Дерпт, в немецкое ок-

---

<sup>7</sup> Из «Письмовника» Курганова: немец «в поведении прост, ростом высок, в одежде подражателен, в кушании славен, в нраве ласков, лицом пригож, в писании изряден, в науке знаток, в законе тверд, в предприятии орел, в услуге верен, в браке хозяин, немецкие женщины домовиты».

<sup>8</sup> Исследовательница справедливо замечает: «Представления о немцах, принявшие характер стереотипов, начали складываться, таким образом, с момента появления немцев на русской земле и затем — во время встреч с ними на земле германской. Удивительно, но некоторые из них оказались такими устойчивыми, что и позже, когда немцев узнали гораздо ближе, и ученая культура Германии стала предметом увлечения русских образованных лю-

ружение (для него Дерпт, безусловно, немецкий город) воспринимает немцев в соответствии с этим стереотипом — без раздумий совмещая его с романтическими представлениями о Германии как стране учености и высокой литературы.

Иногда он разделяет «высокую» и «бытовую» стороны в своих представлениях о немецком: «Любя немецкие науки, а немцев вовсе не любя». Нелюбовь здесь декларируемая, а не действительная. «Немчура» появляющаяся в стихах Языкова 1820-х гг. — «нравственно добра, всему покорна, всем довольна», «мила и бескрамольна». Ей свойственны и умеренность и аккуратность: «...немцы не любят того, что мы называем роскошью; у них своя: бутерброт, пиво, табак кой-какой — и вот что они называют наслаждением! Фортопьяно, две или три дамы, с полдюжины кавалеров и столько же свечей, и вдвое больше чашек чаю — это бал и пир горой!» [Языков 1913: 264]. 5 февраля 1827 г. он пишет брату: «Поздравляю тебя с маслиницей; надеюсь, что у вас на Руси торжественнее и значительнее и, следовательно, веселее, чем здесь в Неметчине, где все, что по-нашему называется гулять, носит на себе очень

---

дей, и потом на протяжении всего XIX века представления о внешних и внутренних чертах немцев, нашедшие, в частности, отражение в лубочных картинках XVII–XVIII вв., неизменно повторялись в разговорах, в письмах и дневниках русских людей, в записках о путешествиях в Германию, наконец, в художественной литературе. Пиво, трубка, табак как обязательные внешние признаки не только немецкого быта, но и самих немцев, воспринимались почти что как их органические свойства. Представление о таких чертах немецкого характера, как расчетливость, переходящая в скупость, аккуратность, переливающаяся в педантизм, присутствовало в описаниях и оценках по адресу немцев всегда. Наконец, образ немецкого «Михеля», неповоротливого увальня, не способного к решительным действиям, связанный и с впечатлениями Семилетней войны, и со всей историей германских государств начала XIX в., когда немцы обнаруживали вялость и незадачливость в попытках решения своих национальных проблем, тоже оказался необыкновенно устойчивым и только к концу столетия эту устойчивость утратил» [Оболенская 1991].

ярко отпечаток вялости, однообразия и даже расчетливости» [Языков 1913: 305].

При этом в письмах Языков высказывался и во вполне русификаторском ключе:

*1826, февраля 28. А. М. Языкову*

У нас, как и во всей Руси православной, теперь масляница; как бы то ни было, мы и здесь ее празднуем. Скучно, любезнейший, видеть, как немцы пренебрегают русскими праздниками; если бы я был императором Российским, я бы заставил их и пить русский квас, и есть русские блины, и ходить в русскую церковь, и говорить по русски, да обрусуют и да принадлежат вовсе к огромному государственному телу России. Не правда ли, это предположение политическое, и — шутки в сторону — его исполнение было бы полезно государству православному [Там же: 241].

В преддверии отъезда поэт переоценивает немецкую сторону и немецкую науку: уже в 1828 г. он в послании «А. Н. Вульффу» («Помнишь ли, мой друг застойной...») характеризует «немецкую сторону» как «рассудительную, ученую» — но привязанность к ней относит уже к прошлому («когда-то милая мне»). По-прежнему с Дерптом связываются «поэтическое пьянство» (из послания А. В. Тихвинскому [Языков 1988: 238–239]); очень характерно, что немцам приписывается как поэтичность, так и склонность к пьянству), «веселый шум, ученый труд и чувства груди молодецкой» (из послания Д. Давыдову [Там же: 284]). Окончание «студентской» жизни Языков описывает в нескольких стихотворениях, лирический герой которых превращается из бурша в филистера:

А теперь тоске да лени  
Хладнокровно предаю  
Утро светлых вдохновений,  
Юность добрую мою:  
Не шумят мои досуги,  
Не торопится мой труд...  
(«А. Н. Вульффу»)

Ты прав, мой брат: давно пора  
Проститься мне с ученым краем,  
Где мы ленимся и зеваем,

Где веселится немчура!

<...>

Теперь в томительном покое

Текут мои немые дни

(«А. М. Языкову»)

Не называй меня поэтом,

Что было — было, милый мой,

<...>

Не веришь? Знай же: твой певец

Теперь совсем преобразован,

Простыл, смирен, разочарован,

Всему конец, всему конец!

(«А. Н. Вульф», «Не называй меня поэтом...»)

А ныне? — Миру вдохновений

Далеко-недоступен я:

На лоне скуки, сна и лени

Томится молодость моя!

Моей камены сын ослушный,

Я чужд возвышенных трудов,

Пугаюсь их — и равнодушно

Гляжу на поприще стихов.

(«Барону Дельвигу»)

Герой стихов Языкова был первым в русской традиции участником корпорации, расставание героя с кругом друзей-единомышленников было новой темой. Языков воспользовался для ее разработки схемой, взятой из студенческого репертуара (противопоставление бурша и филистера). Постфактум происходит переоценка собственной поэзии дерптского периода — в «Воспоминании об А. А. Воейковой» (1831):

Вон чуждый брег и мирный храм познаний

Каменами любимая страна;

Там, смелый гость свободы просвещенной,

Певец вина и дружбы и прохлад,

Настроил я, младый и вдохновенный,

Мои стихи на самобытный лад —

<...>

Для вас я пел немецкие досуги,

Спесивый хмель ученой головы,

И праздник тот, шумящий ежегодно  
<...>  
Товарищи! Не правда ли, на пире  
Не рознил вам лирический поэт?  
А этот пир не наобум воспет,  
И вы моей порадовались лире!

Таким образом, Языков признается в том, что его стихи писались в Дерпте под влиянием русского студенческого окружения и моды, были обусловлены ими — и сюжетно, и тематически.

И в поэтическом, и в прозаическом Дерпте (из языковских писем) появляется противопоставление русского студенчества («наших», тех, кто приехал «из страны, страны далекой»; в письмах они названы «вся Русь» [Языков 1913: 383]) и «немчуры». Появляются и «чухонец некрасивый», «чухонец сонный», и «некрасивая чухонка» — правда, в пародийных и шуточных стихах (см. «Чувствительное путешествие в Ревель», «Корчма»). Однако это лишь этнографические детали, которые окружают героя поэтического Дерпта — русского веселого студента, который если и грустит, то о далекой родине, а совсем не о Европе<sup>9</sup>.

Конечно, в формировании образа Ливонии у русского читателя 1820–30-х гг. большую роль сыграли не только Карамзин и Языков, но и «ливонские повести» Бестужева и Кюхельбекера. Все эти тексты составили фон для восприятия описаний Ливонии и Дерпта, созданных следующим автором — Ф. В. Булгариным. Он был человеком, в силу биографических обстоятельств, весьма осведомленным о жизни Эстонии. Так характеризует его С. Г. Исаков — исследователь, много занимавшийся этой темой (см.: [Антология: 225]), и нельзя с ним не согласиться.

Среди многих сочинений Булгарина нас будут интересовать «Прогулка по Ливонии» (1827–28) и «Летняя прогулка по

---

<sup>9</sup> Развитие немецкой темы в поэзии Языкова более позднего времени, безусловно, представляет большой интерес, но выходит за рамки настоящей темы.

Финляндии и Швеции, в 1838 году». Первая из них более известна и породила легенду об исключительно сочувственном отношении автора к эстонскому народу. К сожалению, это не более чем легенда. Не будем останавливаться на этом подробно, приведем лишь несколько достаточно выразительных цитат. Эсты, пишет Булгарин в «Летней прогулке...», «народ мужественный, способный к перенесению величайших трудностей, но вообще ленивый, угрюмый и упрямый», «пляска Эстов мало чем разнится от пляски медведей, а песни их суть нечто <т. е. ничто. — Л. К.> иное, как жалобные стоны» [Булгарин 1839: 7]. Булгарин тут же дает объяснение такому положению дел: «Многие веки бедствий оставили на народном характере пятна, которые сходят с трудом» [Там же]. Казалось бы, чего же лучше — сочувствие налицо, однако дальнейшее повествование показывает, что к такому объяснению дело не сводится. «Дикость» и нечистоплотность оказываются для автора чертами природного характера эстонцев, которые противопоставляются латышам и немцам:

Куда ни обратишь взоры, везде грязь, лохмотья, голод и водка. <...> Удивительно, как, в течение стольких веков, Эсты не переняли от Немцев чистоты и порядка! Ведь Латыши были точно в таком же положении <...>, однако они давно уже отрелись от той дикости, которая составляет главную черту характера Эстонцев. В окрестностях Верро (в Дерптском округе) Эсты едва ли отличаются чем нибудь от Эскимосов и Самоедов [Булгарин 1839: 10].

Как это свойственно Булгарину, концы с концами в его повествовании никак не сходятся. Он непрерывно клянется в стремлении к объективности («беспристрастие водило пером моим»), но журналистская ангажированная манера без труда побеждает эту установку, даже если поверить в ее искренность.

Осведомленность Булгарина о местной жизни проявляется в подробном описании самых разных слоев населения Лиф-

ляндии, в том числе и русского<sup>10</sup>, во внимании к «промежуточному» слою «ново-немцев»<sup>11</sup>:

Эстонцы одарены, от природы, большими способностями, которая стоит только пробудить от векового усыпления. Большая часть среднего сословия (Bürgerstand) <...> населена жителями, происходящими от Эстов. Теперь эти господа граждане (Bürger), образовавшись в Немецких школах, называются уже Немцами; но предки их, а часто и отцы, были Эсты. Из этих фамилий Немецко-Эстляндской крови, есть весьма много людей полезных и образованных, докторов медицины, пасторов, купцов и даже чиновников. Те, которые идут поприщем службы, переселяются, по большей части, в Петербург и в Москву [Булгарин 1839: 10].

Далее Булгарин упоминает о русских генералах эстонского происхождения Михельсоне и Эриксоне:

Твердость характера Эстов, и упрямство, которое при образованности превращается в постоянство, доставляет им преимущество, не только перед Латышами, но даже пред Русскими, везде, где надобно взять терпением. Вообще унижение человека не в природе его, но в светском положении. Напрасно заезжие в этот край иноземцы почитают Эстов глупыми и неспособными ни к чему, кроме землепашества! События доказывают противное [Там же: 11].

---

<sup>10</sup> «Все Русские, поселившиеся в Эстляндии и Лифляндии, знают язык простого народа, а торговцы говорят чисто по-Немецки. Молодые Русские, рожденные в городах, обучаются в первоначальных школах, в которых Немецкий язык есть господствующий, а Русский преподается на таком же основании, как в Русских учебных заведениях языки Французский и Немецкий» [Булгарин 1839: 15–16]. Булгарин достаточно критичен к местным русским купцам: «Русский товар и дурной товар — синонимы. Виною всего этого наши Русския: *авось* и *как нибудь*» [Там же: 16]. С другой стороны, автор находит возможность похвалить их трудолюбие, как и высокое мастерство русских ремесленников, в отличие от остзейских (ср. эпизод со столяром).

<sup>11</sup> Т. е. образованных эстонцев, не говоря о разносторонней характеристике остзейских дворян.



От читателя явно не ожидается стремления согласовать это рассуждение с суждениями самого Булгарина о природной дикости эстов, которые он высказал незадолго перед этим. Суждения каждый раз «ситуативны», т. е. согласуются с ближайшим контекстом, но не предполагают видения ситуации в целом. Однако над всем доминирует позиция **русского** дворянина<sup>12</sup>, избранная Булгариным. Это точка зрения человека, который знает Лифляндию не понаслышке и любит ее, поэтому не только может информировать русское общество о положении дел в этом экзотическом крае, но и влиять на общественное мнение России, а главное – давать советы правительству, как исправить положение дел.

Программа Булгарина, при всей ее противоречивости и очевидной зависимости от разнообразных внелитературных факторов, весьма любопытна. Он хотел бы видеть бóльшую интегрированность края в российский контекст. Другими словами, по мысли Булгарина, Лифляндия должна стать подлинной российской провинцией (т. е. территорией), которой она пока не является<sup>13</sup>, но сохранить при этом своеобразие, в частности, немецкий язык как язык образованного сословия — язык учености и самой богатой в мире литературы:

---

<sup>12</sup> Тема оскорбительного положения русских дворян, которых остзейцы считают чем-то вроде освобожденных негров, и их дискриминации в Остзейском крае является лейтмотивом сочинения Булгарина.

<sup>13</sup> Причины этого Булгарин видит в смешном провинциальном патриотизме остзейцев, считающих Лифляндию частью Германии (т. е. Европы) и презирающих русских (ср.: «Я проезжаю страну, в которой каждый гордится своим званием, и где Русскому человеку должно ходить на цыпочках, говорить в полголоса и садиться на полстула, если он не хочет получать, на каждом шагу, толчки своему, даже позволенному, самолюбию» [Булгарин 1839: 27–28]), а также в незнании русского языка и в нежелании его изучать. Все эти предрассудки требуют, по мысли автора, скорейшего искоренения.

Душевно радуюсь, что наше мудрое и отеческое Правительство<sup>14</sup> сохранило в Дерптском Университете Немецкий язык! Этот пункт (фокус), из которого расходятся на наше любезное отечество лучи Германского просвещения, в самородных формах! Молю Бога, да процветает Немецкий язык в Остзейских провинциях — рядом с Русским! [Булгарин 1839: 68]

Дерпт и Дерптский университет составляют центр булгаринских очерков о Лифляндии. Не останавливаясь на деталях его описаний города и университета, подчеркнем, что они создали своего рода канон восприятия Дерпта как маленького чистенького городка, самой природой предназначенного для создания в нем университета<sup>15</sup>. Однако отношение Булгарина к Дерптскому университету — двойственное. На поверхности — похвалы и восторги (особенно в «Прогулке по Ливонии»), но, по

---

<sup>14</sup> Иногда, правда, этому мудрому правительству достается от автора за слишком мягкое отношение к остзейским порядкам.

<sup>15</sup> Чистота Дерпта, подвергавшаяся некоторому сомнению уже Языковым, в начале XX в. была проанализирована с научной точки зрения. Выводы оказались неутешительными: «В гигиеническом отношении гор. Юрьев похвалить нельзя. <...> В городе нет водопровода, между тем вода местных колодцев, не говоря уже о реке Эмбахе <...>, крайне загрязнена <...>. Канализация отчасти устроена плохо <...>. Большая половина <...> городской территории представляет собою очень низменную и сырую местность <...> Санитарное состояние далеко не безукоризненно <...>. Среди городского населения сильно распространен туберкулез и некоторые венерические болезни (гонорея и сифилис); очень много больных глазами; хронический насморк и хронический катарр гортани — обычные болезни, особенно у лиц, родившихся в другом климате и после приехавших в Юрьев. В уезде свирепствует проказа» [Зеленин 1909: 23–24]. Как видно, путеводители начала XX в. преследовали отнюдь не рекламные цели, а исходили из представления, что «отрицательная» информация способна предостеречь потенциальных студентов от возможных осложнений, но не отвратить их от поступления в университет (нам важно подчеркнуть это отношение к читателю как к серьезному партнеру, столь не свойственное современным нам источникам информации).

сути, именно университетскому укладу автор приписывает инфантилизм «остзейских недорослей» (Landjunker), которых считает главными виновниками отрицательного отношения к России в Остзейском крае. Булгарин считает первоочередной задачей истребить «из дворянского круга студенческие обычаи» [Булгарин 1839: 45]. Приведем его пространное рассуждение на этот счет, поскольку оно касается не только мировоззрения остзейцев, но и оси «Россия — Лифляндия — Европа» и Дерпта как остановки на пути в Европу:

Лифляндский дворянин, побывав в университете, и не дождавшись экзамена, едет за границу, привозит оттуда Германский костюм и Германский образ мыслей и закупоривается в деревню, из которой выезжает снова за границу, накопив денег. — Многие из них, живя в 300 и 400 верстах от Петербурга, никогда в нем не бывали, истоптав, между тем, все тропинки на Рейне. Большая часть, зная даже Русский язык, не хотят говорить по-Русски, как только с своим плотником или каменщиком, и ни за каких благополучия не заглянут в Русскую книгу. Почтенные Лифляндские ландраты, литографируя свои портреты, подписывают под ними: портрет такого-то ландрата Герцогства Лифляндскаго, не упоминая вовсе о Лифляндской губернии! Русскими называются Лифляндцы только в чужих краях! Там только принимают они на себя звание Русскаго дворянина, на которое они имеют везде полное право. Если Лифляндец едет в Петербургскую губернию, то говорит, что он едет в Ингерманландию, а если едет в Псков, то говорит, что едет: nach Russland (в Россию) т. е. употребляет выражения, существовавшие в провинции до Петра Великого. Этот смешной, детский провинциальный патриотизм поддерживается в Лифляндии юношеством, нынешнего поколения [Там же: 41–42].

Понятно, что сказанное представляет собой лишь введение в проблему, которая, в свою очередь, касается одного лишь аспекта большой темы: статус балтийского региона в русском культурном сознании. Из того двойственного положения, которое занимал этот край, возможны были несколько выходов:

а) создание поэтического адекватата реальности, выход в миф (путь Языкова);

б) ликвидация двойственности, т. е. русификация — к этому пути склонилось в конце концов русское правительство, и он оказался во всех отношениях бесперспективным;

в) путь интеграции немцев и эстонцев в русский контекст, предложенный Булгариным — сложный путь политических и культурных компромиссов, он не был реализован, и о его реализуемости у нас пока нет оснований судить.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Антология: Эстония в произведениях русских писателей XVIII – начала XX века: Антология / Сост. С. Г. Исаков. Таллинн, 2001.
- Булгарин 1839: *Булгарин Ф. В.* Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в 1838 году. СПб., 1839. Ч. 1.
- Зеленин 1909: <*Зеленин Д.*> Путеводитель и справочная книга по г. Юрьеву и Юрьевскому университету. Юрьев, 1909. Изд. 2-е.
- Лотман 1987: *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987.
- Оболенская 1991: *Оболенская С. В.* Образ немца в русской народной культуре XVIII–XIX веках // Одиссей. Человек в истории, культурно-антропологическая история сегодня. М., 1991.  
[http://zhurnal.lib.ru/o/obolenskaja\\_s\\_w/obraz.shtml](http://zhurnal.lib.ru/o/obolenskaja_s_w/obraz.shtml)
- ПРП: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984.
- Тюрморезов 1915: *Тюрморезов А. П.* Настольная книга учащихся в высших учебных заведениях и путеводитель по г. Юрьеву. Юрьев, 1915.
- Языков 1913: Языковский архив. СПб., 1913. Вып. I: Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829) / Под ред. и с примеч. Е. В. Петухова.
- Языков 1988: *Языков Н. М.* Стихотворения и поэмы. Л., 1988.